

Александр Дольский:

Я не боюсь смерти, я боюсь расставания



Он стоит в холле питерского Дома актера, а мы судорожно пытаемся решить: «Кто это? Дольский или кто-то другой?». Седой, с явно выраженными залысинами, борода. Человек одновременно походит на священника «в штатском» и на крестьянина времен отмены крепостного права. Мы осторожно подходим к нему: «Здравствуйте, Александр Александрович». «Это вы из «Комсомолки»? Здравствуйте, ребята». Все-таки не ошиблись — думаем мы про себя.

Видимо, Дольский понимает причину нашей заминки. Мягко спрашивает:

— Что, не узнали?

Мы смущенно киваем в ответ.

— Это совершенно естественно. Обо мне не говорят уже несколько лет.

— Александр Александрович, но ведь...

— Это не первый спад в моей жизни. Их было несколько: в середине шестидесятых, в середине семидесятых. В восьмидесятых был подъем, затем опять вниз. Это было время, когда на мои концерты почти никто не ходил.

— Последний пик вашей популярности был связан с перестройкой.

— Эта популярность была нехарактерна для меня.

— Почему? Ведь тогда ваши «злостные» песни на следующий же день после передачи на ТВ обсуждала вся страна. Говорили: «А слышали, что вчера Дольский выдал?».

— О, да. Мне звонил однажды, после «Пятого колеса», приятель из Москвы: «Слушай, алкаши в очереди уже про тебя говорят. Представляешь, какая у тебя популярность?».

— А вы?

— А что я? Я же говорю, что это не популярность. Я знаю, для кого пишу. Моя аудитория — это не очередь алкашей.

— Ваша аудитория...

— Моя аудитория всегда одинакова. Чтобы воспринимать то, что я делаю, нужны определенные усилия и какое-то генетическое предрасположение. Мое творчество очень многое требует от слушателей.

— Чего именно?

— Интеллекта. Это же не «развлекаловка», мое творчество. Оно требует специальной подготовки.

— Но как же быть с этим «перестроечным» пиком популярности?

— Вы же помните, тогда все были чем-то открылены. Чего-то ждали. Наверное, и я тоже. Поэтому то, что я тогда пел, и нравилось многим.

Но, поймите, потом-то, когда эйфория прошла, ушла и эта вот «популярность». А сейчас, только-только, намечается очередной всплеск интереса к моему творчеству.

— Что вы делали в эти годы?

— То же, что и всегда, — работал. Писал, выступал. Только не в России, а в других странах. Был в Америке, в Германии, Израиле. Зарабатывал там деньги. Небольшие деньги, которые потом в России становились вполне приличными. А сейчас уж лучше я буду здесь зарабатывать. Тем более что и возможности для этого появились. Тем более здесь-то я привык к огромным залам. А там... Тесно.

— Вы обеспеченный человек?

— Если сравнивать с нашими старушками, то, наверное, да. Но если учесть, что у меня трое сыновей и жена и теще надо помогать, то роскошь я не заработал. На еду хватает. Машины у меня нет. Есть, правда, домик. Я соорудил его купить, когда все вокруг стало рушиться.

В моей жизни нет ничего, что есть обычно у «звезд». Я бы, конечно, хотел все это иметь, но... Я живу только на гонорары.

— Есть ли у вас коммерческий директор?

— Нет. Если приходит предложение, я сам принимаю решение.

— Но сейчас барды начинают держать собственных директоров. Вот, например, Розенбаум.

— Розенбаум — исключение. Он пишет совершенно другие вещи. Это даже не жанр другой, а иные пласты культуры. Знаете, в шестидесятых на знамени бардов было написано: «Искренность и честь». На знамени Розенбаума всегда было написано: «Успех». Это вовсе не плохо. Просто у меня — другой путь.

— Какой?

— У меня совершенно другое отношение к слову. К тому же я профессиональный музыкант. И еще... У меня много новых песен, но на концертах я пою лишь немногие из них. Если я буду их петь, я потеряю публику. Потому что я обогнал публику. Она живет воспоминаниями о том еще Дольском и того же хочет слушать. А я давно стал другим.

— Что это — горе от ума?

— Нет. Просто человек никогда не должен стоять на месте. Вот, например, Женя Клячкин как-то мне сказал: «Ужас, я не пишу уже два месяца». Кто-то не пишет годами. У меня такого нет. Я пишу всю жизнь. Скоро у меня

и проза выйдет, впервые. Поэтому я до сих пор чувствую себя учеником. Вечно начинающим.

Неожиданно он сбивается и произносит:

— Знаете, я очень благодарен за внимание вашей газеты ко мне. Очень хорошо, что мы с вами встретились. Хотите, я скажу вам, почему у меня нет администратора?

Мы молчим в ожидании ответа.

— Все очень просто. Я никогда не создам своему администратору комфортных материальных условий. Однажды, в 1989-м, один очень хороший человек пытался помочь мне. Я тогда, кстати, получил звание заслуженного артиста России. Был официально признан и очень комплексовал по этому поводу: вот у Высоцкого этого звания не было, а у меня есть. Неправедливо. Да, но у администратора все равно ничего не вышло. Я люблю заниматься тем, чем хочу, а не тем, чем надо.

— А семья? Вас понимают ваши дети или это уже другое поколение?

— Мне кажется, мои сыновья похожи на меня. Внутренне. Правда, по моим стопам, наверное, не пойдут. Старший сын поступил в медицинский институт. Средний, видимо, мастерской по духу человек. Хотя он пишет стихи, играет на гитаре. А младший пока в лицее учится. Играет на фортепиано.

Как бы ни было, они, все трое, меня понимают.

— Вы поздно женились. Почему?

— Это отдельная история. Мне не хочется о ней говорить. Может быть, когда-нибудь я напишу об этом книгу. Для тех, кто тоже заглянул в пропасть, но не уверен, что выберется из нее.

— Вы имеете в виду...

— Да, алкоголизм. Сейчас я не беру капли в рот. И не курю, кстати. В какой-то момент я почувствовал: еще немного, и все — смерть. В то время я познакомился со своей будущей женой. И жена в своем отношении ко мне сыграла колоссальную роль. Я понял тогда: надо семью создавать, детей рожать. Жена мне не только сыновей подарила, она помогла вернуться в нормальную жизнь.

— Алкоголь — удел многих творческих людей...

— Я тоже не исключение. Ведь в те годы никаких залов не было. Все выступления происходили на квартирах. А публика собиралась — артисты, академики. Денег не платили. Просто — пей, сколько хочешь.

Вообще, наверное, со мной происходило то же самое, что с Высоцким. Просто у меня хватило сил бросить, а у него нет. Он всего достиг, он от счастья умер. А у меня этого счастья не было, нужно было многого добиваться. Поэтому...

Семья и творчество помог-

ли мне выбраться. Я вдруг увидел, что мои песни нужны, их поют. Уважаемые в искусстве люди с теплотой отзываются о моем творчестве. Для меня стала очень важной востребованность.

— С годами вы стали прощше?

— В чем-то — да. Исчезла непредсказуемость поступков. Темперамент стал спокойнее.

Он опять замолкает. Уходит в себя. Мы тоже молчим, боясь прервать паузу. Проходят какие-то секунды, и Дольский преобразается:

— Я объясню, в чем вся штука. Мне было восемь лет. Я смотрел в театре «Чжо-Чжо-сан». Рядом со мной сидела девочка, дочка актрисы, игравшей мадам Баттерфляй. И в сцене самоубийства Баттерфляй я неожиданно заплакал. Сам того не заметил. Потом дочка рассказала об этом матери. Актриса пришла ко мне, растроганная, и сказала: «Какой ты удивительный человек». Я тогда впервые задумался: что здесь необычного? Почему другие-то не плакали?

Недавно я слушал Шестую симфонию Чайковского. И тоже заплакал. И имел глупость рассказать об этом в одной компании. Один сказал: «Дурак, никогда об этом не говори на людях». Другие подумали, что я просто «выделяюсь», дешево цену набиваю. Третьи просто назвали сумасшедшим.

Почему так случилось, что я многое делаю лучше других? Просто так же естественно, как заплакать, для меня было — работать. Я занимался музыкой, как фанатик, по восемь—десять часов, не чувствуя усталости, а лишь дику тягу: еще! Мог сутки напролет писать стихи. Очевидно, этот фанатизм дал возможность достичь чего-то своего.

— Своего — чего именно?

— Когда человек пишет для себя сам, а потом выходит на сцену, он становится другим. Вот Жванецкий, Альтов. Когда они на сцене, они перерождаются. Когда я выхожу на сцену, со мной такого не происходит. Совершенно никакой грани.

— Искренность чревата трагедиями.

— Знаю, но я всегда верю людям. Хотя давно бы уже пора привыкнуть, что людям свойственно предавать. Но когда я встречаюсь даже с совершенно незнакомым человеком, я заранее верю: он хороший. Мне, наверное, нужно, чтобы он доказал обратное. Иначе я не поверю во зло. Вообще с годами у меня выработался иммунитет на трагедии. Когда случается

что-то нехорошее, у меня происходит ступор. Все чувства притупляются. Должны быть слезы — их нет.

— Вы никогда ни о чем не жалеете?

— Перестал. У меня есть стихотворение «Приходит со временем»:

О жизнь моя, как ты мгновенна!

И как горчит твоё вино... Так будь же все

благословенно,

Что было в суете дано.

Вот сейчас закончится наше с вами интервью. Я выйду на Невский и пойду домой. И я знаю, что на душе у меня будет спокойно. Несмотря на то, что впереди будут и трагедии, и болезни, и смерть. Конечно, я боюсь всего этого, но уже меньше, чем раньше. Со временем я буду относиться к этому еще проще. Я знаю, что все это неизбежно.

Он в очередной раз замолкает. И слышно, как постукивает кассета в диктофоне, записывая тишину.

— Знаете, что самое страшное для меня во всем этом? Что однажды придется расстаться с дорогими мне людьми. И что сегодняшняя моя жизнь, какая бы она ни была, однажды закончится. Но... Вот сейчас я выйду на Невский, и мне будет спокойно. И дома меня будут ждать.

— Если бы сейчас у вас была под рукой гитара, что бы вы исполнили?

Он отвечает, не задумываясь:

— Нет в мире лучшего блаженства,

Чем осознание пути.

Когда, достигнув

совершенства,

Ты все же вынужден

уйти.

Когда и сердцем, и

мышлением

Приемлешь равно мрак

и свет.

Когда легчают

сожаленья

О пустоте минувших

лет.

Когда проводишь самых

близких

В недостижимую даль.

Когда уже не знаешь

риска,

А лишь терпенье

и печаль...

Мы выходим на вечерний проспект. Над оживленным Невским висит питерская сырость. Несколько минут мы идем вместе в плотном людском потоке. Дольский прощается с нами и переходит на другую сторону. Через мгновение его уже не различить в толпе.

Серафим БЕРЕСТОВ,
Лидия ТЕРЕНТЬЕВА.

Санкт-Петербург —

Москва.

Фото В. СУГУЛОВА.